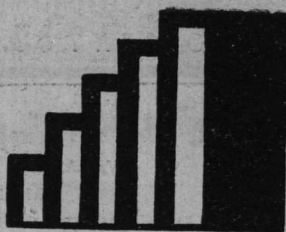


ПРОЖЕКТОР

*Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!*

№ 13 (35). 15 июля 1924 г. № 13 (35)



Юрий Соболев.

ЧЕХОВ И ЧЕХОВЩИНА.

(К 20-тилетию со дня смерти).



I.

О дня смерти Чехова прошло двадцать лет (2—15 июля 1904—1924 г.), и за эти два десятилетия писания о нем, за малыми исключениями, главным образом относящимися к марксистской критике и публицистике, — успели сложить только два его изображения, создать два трафарета, с

истертых клише которых продолжают до сих пор появляться „портреты“ Чехова.

Одно, отлившись из шаблоннейших утверждений о чеховском пессимизме и безыдейности, комментируется приблизительно такой подписью:

„Поэт лишнего людей пишет в сумерках о хмурой русской жизни.“

Другое изображение рисует Чехова опять-таки „поэтом“, но на этот раз поэтом „сладкой мечты о той жизни, которая будет невообразимо прекрасной через 200—300 лет“.

Как бы посмеялся сам Чехов над этими своими „портретами“. „Поэтами, милсдарь, считаются только те, которые употребляют такие слова, как серебряная даль, аккорд или „на бой, на бой, в борьбу со тьмой“ Это он сказал Ив. Бунину, когда тот попробовал назвать его поэтом.

Но даже такой талантливый „воспоминатель“ — как Короленко и тот не обходится без таких жалких определений, как „простота и задушевность“, или приписывает ему какую-то „печаль о призраках“.

Елпатьевский, в свою очередь, наделяет Чехова влечением „к тихим долинам с их мглою, туманными мелями и тихими слезами“. Куприн заставляет Чехова про-

изнести пышный монолог на тему о том, что „через триста лет вся земля обратится в цветущий сад“.

Эти восторженные общие места, долженствующие дать представление о чеховском оптимизме, в сущности, столь же фальшивы и лицемерны, как и те суждения о чеховском пессимизме, которым питались господа Скабичевские, учинявшие „допрос с пристрастием“, явно отзывающийся полицейским участком: „А есть ли у г. Чехова идеалы?“

И те, кто представляет Чехова „поэтом белого“ (Ю. Айхенвальд) или „задумчивым мечтателем о невыразимо прекрасной жизни через 200—300 лет“, и те, кто

полагает, что Чехов был таким же хмурым нытиком, как и изображенное им сумеречное время, — и те и другие одинаково сходятся на том, что Чехов был „певцом“, русской интеллигенции, которую он якобы весьма любил и о которой был будто бы весьма лестного мнения.

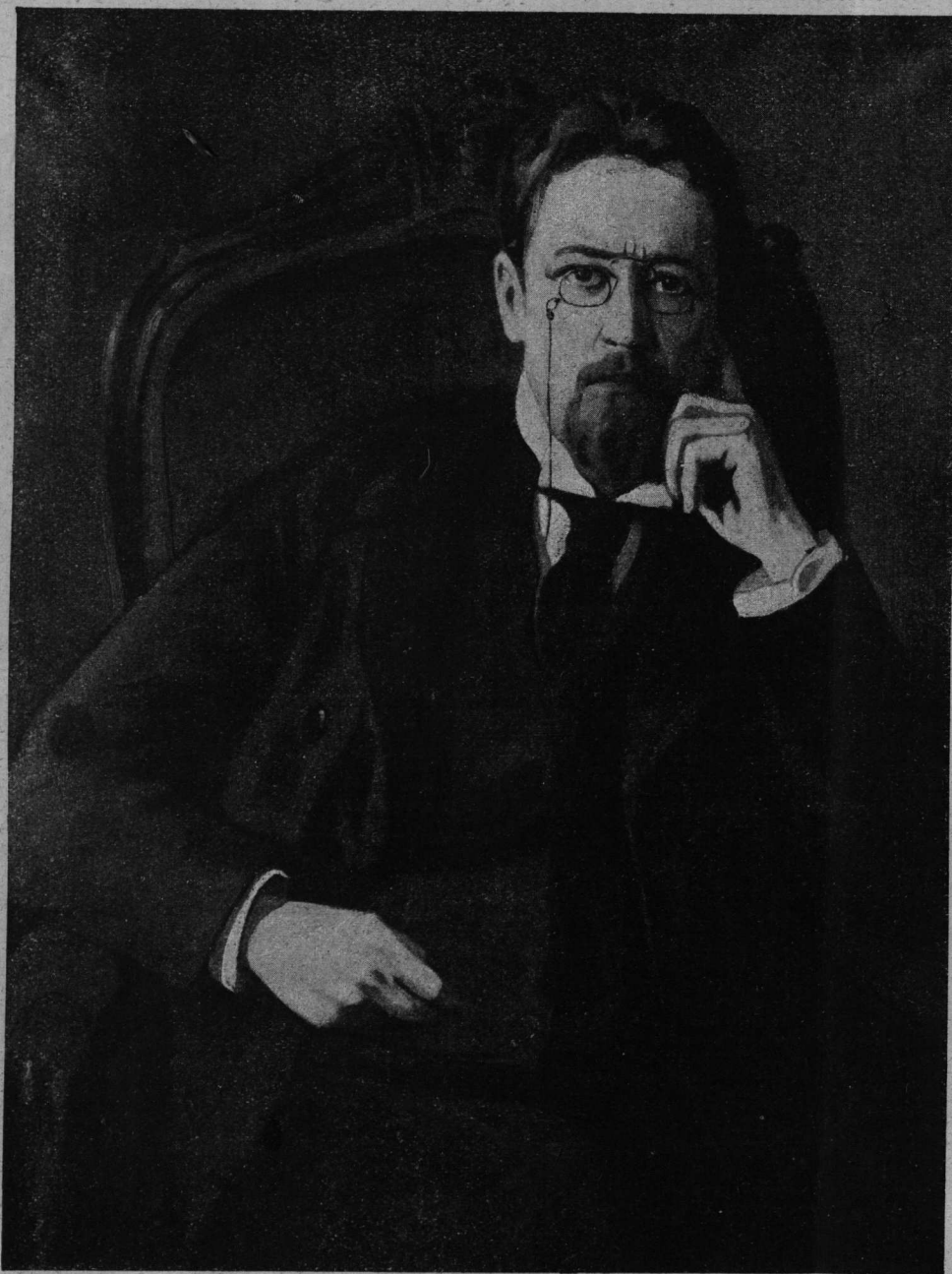
Все эти благоглупости нашли, как это ни странно, законченное свое воплощение в живописи: художник Браз написал Чехова так, что портрет его точка в точку совпадает со всеми литературными суждениями о Чехове.

Но вот, что говорит об этом своем изображении сам Чехов: „Меня пишет Браз. Мастерская. Сажу в кресле с зеленой бархатной спинкой. Белый галстук. Говорят, что и я, и галстук очень похожи, но выражение такое, точно я напился хрену“.

(Письма Чехова т. V, Г. В. Хотяинцевой. 23 марта—4 апр. 1898 г.).

И еще: „На бразовском портрете выражение у меня такое, словно я накануне наелся хрену. Это плохой,

ужасно плохой портрет, особенно на фотографии. Ах, если бы Вы знали, как Браз мучил меня, когда писал этот портрет. Писал один портрет тридцать дней, — не уда-



А. П. Чехов в изображении художника Браз.

лось; потом приехал ко мне в Ниццу, стал писать, другой, писал и до обеда и после обеда, тридцать дней, и вот, если я стал пессимистом и пишу мрачные рассказы, то виноват в этом портрет мой". (Письма Чехова, т. VI, стр. 206, М. А. Членову. 13 февраля 1901 г.).

А ведь на бразовском портрете Чехов изображен таким, каким хотела видеть его интеллигенция.

И до сих пор есть еще наивные люди, свято верующие в то, что в облике („духовном облике“) Чехова запечатлелся как бы собирательный образ русского интеллигента! Очевидно, эти поистине чеховские герои — плохо читали то, что писал о них Чехов. А писал он вот что:

„Пока это еще студенты, и курсистки — это честный, хороший народ, это надежда наша, это будущее России, но стоит только студентам и курсисткам выйти самостоятельно на дорогу, стать взрослыми, как и надежда наша и будущее России обращаются в дым, и остаются на фильтре одни доктора, дачевладельцы, насытые чиновники, ворующие инженеры. Вспомните, что Катков, Победоносцев, Вышнеградский, — это питомцы университетов, это наши профессора, отнюдь не бурбоны, а профессора, светила... Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее недр". (Письма, т. V, И. И. Орлову. 22 февр. 1894 г.)

И еще: „Слизняки и мокрицы, которых мы называем интеллигенцией. Вялая, апатичная, лениво философствующая, холодная интеллигенция, которая никак не может придумать для себя образа для кредитных бумажек, которая непатриотична, уныла, бесцветна, которая пьянеет от одной рюмки и посещает пятикопеечный б..., которая брюзжит и охотно отрицает все, так как для ленивого мозга легче отрицать, чем утверждать, которая не женится и отказывается воспитывать детей. Вялая душа, вялые мышцы, отсутствие движений, неустойчивость в мысли". (Письма, т. II, стр. 478, А. С. Суворину. 27 декабря 1889 г.).

А когда Чехов узнал о смерти Салтыкова, он признался (А. Н. Плещееву, 14 мая 1889 г.) — что ему жаль Салтыкова: „Это была крепкая, сильная голова. Тот сволочный дух, который живет в мелком, изможденном душою русском интеллигенте среднего пошиба, потерял в нем своего самого прямого и назойливого врага".

„Вместо знаний — нахальство и самомнение, вместо труда — лень, свинство, справедливости нет, понятие о чести не идет дальше „чести мундира“, мундира, который служит обыденным украшением наших скамей для подсудимых". Ведь это тоже сказано о русской интеллигенции! (См. письма Чехова, т. III, стр. 144, А. С. Суворину. 9-го декабря 1890 г.).

Это из писем. А вот, что читаем мы в отрывке из неоконченного рассказа: „Я думал, и мне казалось, что мы некультурные, отживающие люди, банальные в своих речах, шаблонные в намерениях, заплеснели совершенно и что, пока мы в своих интеллигентных кружках роемся в старых тряпках и по древнему русскому обычаю грызем друг друга, вокруг нас кипит жизнь, которую мы не знаем и не замечаем. Великие события застигнут нас врасплох, как спящих дев, и вы увидите, что купец Сидоров или какой-нибудь учитель уездного училища из Ельца, видящие и знающие больше, чем мы, отбросят нас на самый задний план, потому что сделают больше, чем все мы, вместе взятые".

Или из „Вишневого Сада“:

„У нас, в России работают пока очень немногие. Громадное большинство интеллигенции, которую я знаю, ничего не ищет, ничего не делает и к труду пока неспособно. Называют себя интеллигенцией, а прислуге, говорят „ты“, с мужиками обращаются, как с животными, учатся плохо, серьезно ничего не читают, ровно ничего не делают, о науке только говорят, в искусстве понимают мало. Все серьезные, у всех строгие лица, все говорят только о важном, философствуют, а между тем громадное большин-

ство из нас, девяносто девять из ста, живут, как дикари". (II акт, из монолога Трофимова).

Не правда ли, какое совпадение, — даже в отдельных словах, — между цитируемыми фразами из писем и отрывками из чеховских произведений? И обратим внимание на даты тех и других: суровое осуждение интеллигенции находим в письмах, помеченных 1888 годом, а монолог Трофимова взят из пьесы, написанной в 1903 году. Так, на протяжении всей творческой жизни Чехова остается неизменной его точка зрения на „слизняков и мокриц, которых мы называем интеллигенцией".

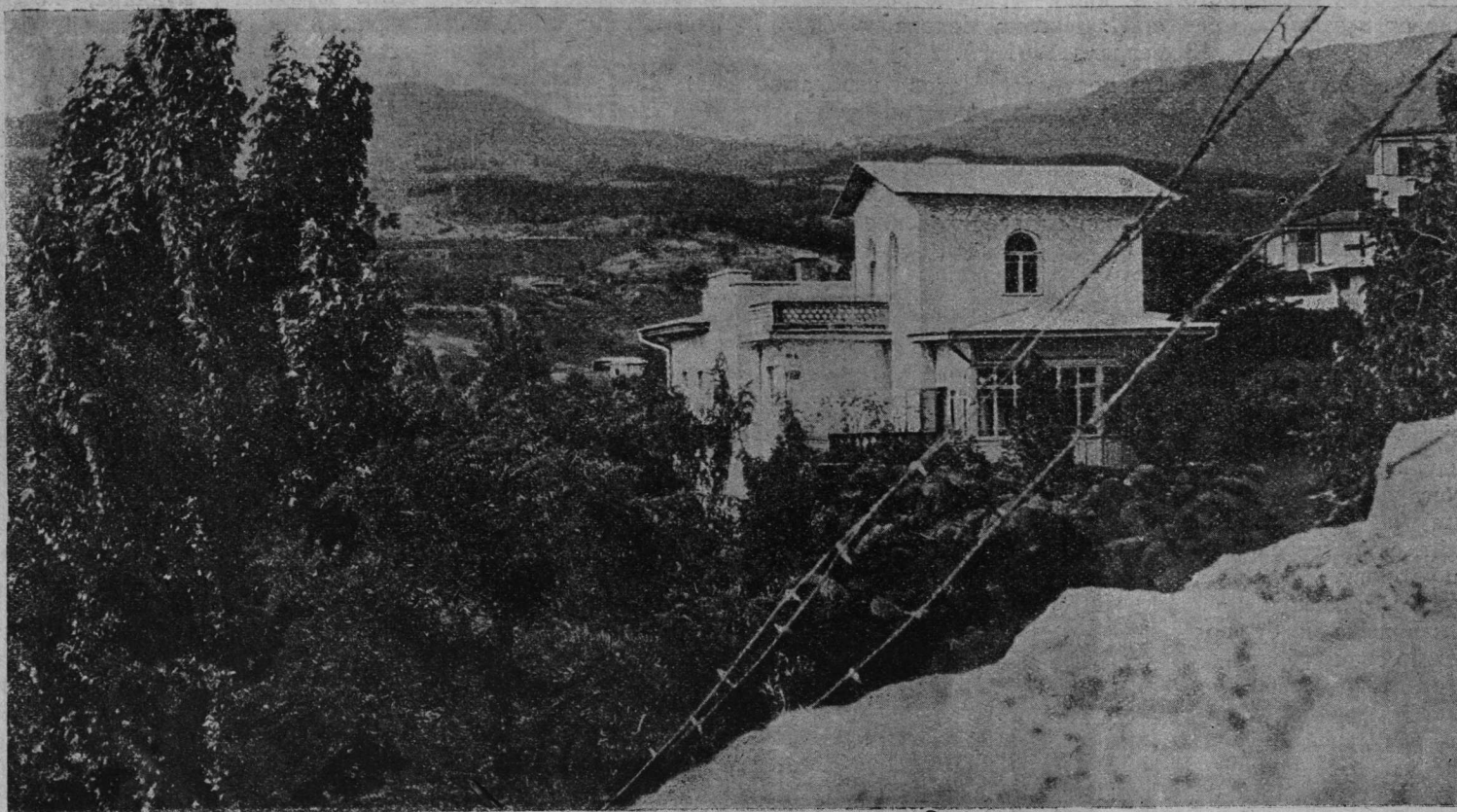
2.

Но кого же любил сам Чехов? Кого противопоставлял он унылой, бесцветной, брюзжащей интеллигенции?



А. П. Чехов. Фотографический снимок. Из собрания музея Чехова в Москве.

Чеховский уголок.



Дача А. П. Чехова в Ялте, превращенная теперь в чеховский музей

„Таких людей, как Пржевальский, я люблю бесконечно“, — отвечает на этот вопрос Чехов в письме к Е. М. Линтаревой. (Письма, т. II, стр. 201).

Почему? За что любит Чехов Пржевальского? Он объясняет это в статье своей „Люди подвига“ („Новое Время“, 26 октября 1888 г.): за идейность, благородное честолюбие, имеющее в основе честь родины и науки, за упорство, никакими лишениями, опасностями и искушениями личного счастья непобедимое, за стремление к раз намеченной цели, за богатство знаний, за фанатическую веру в цивилизацию и в науку.

Пржевальский в глазах Чехова — подвижник. Сам Чехов таким, конечно, не был. Но он всем складом своей натуры был близок именно к людям подвига. „Я презираю лень, как презираю слабость и вялость душевных движений“, — признался он в письме к Суворину 7 апреля 1897 года. (Письма, т. V, стр. 35). И он твердо знает, к чему должен стремиться культурный русский человек: „Он должен желать. Ему нужны прежде всего желания, темперамент. Надоело кисляйство“.

3.

Надоело кисляйство. Однако, это признание может быть заподозрено в своей искренности. Пусть отрешивается Чехов от „чеховщины“, пусть клянется в любви к людям подвига и в презрении к мокрицам, — смеем ли мы ему верить? Смеем — потому, что теперь мы знаем всю его жизнь, во всем настолько несхожую с прозябанием „хмурых людей“, что описания одних лишь внешних фактов его биографии уже достаточно для утверждения полярности Чехова и чеховщины.

Он вечно в движении, вечно путешествует. Ездит по России, месяцами живет за границей, уже тяжело больной мечтает побывать в Африке. В прошлом — поездка на остров Сахалин, откуда вернулся он в Россию кружным путем, побывав в Индийском океане, на Цейлоне, в Сингапуре.

Его общественная работа, — как врача, строителя и печетеля школ, и как литератора, принимавшего самое близкое участие в профессиональной жизни писателей, наконец, его активный протест против несправедливости

и произвола, столь ярко выразившийся в демонстративном уходе из Академии Наук после „разъяснения“ Максима Горького, — все это рисует его волевою действенную личность. Напряженно работающий, страстно любящий свою профессию, мужественно переносящий жестокую болезнь и умерший по свидетельству лечившего его доктора Шверера, „как герой“, — Чехов во всем противоположен тем „мокрицам и слизнякам“, у которых „вялая душа, вялые мышцы, отсутствие движений, неустойчивость в мысли“.

Ритмически — жизнь Чехова прошла в движении, идеологически — она была насыщена вполне определенной и устойчивой мыслью. Мыслью о том, как выжать из себя каплю за каплей раба.

Он жил в самое отвратительное время — в пору малых дел и тупой николаевской реакции. Многого он не понимал и многого не видел. Но он одно понимал твердо и одно видел ясно, что с вялой, равнодушной, безвольной интеллигенцией делать ему нечего. И он задышался, сидя и в Москве, и у себя в Мелихове, и на белой своей даче в Ялте.

Чехов был рационалист, материалист по всему складу своей природы. Он резко отошел от толстовства, потому что „расчетливость и справедливость“ говорили ему, что „в электричестве и в паре — любви к человеку больше, чем в целомудрии и воздержании от мяса“. (Письма, т. 4, стр. 293).

Этим своим материализмом Чехов отделяет себя от буржуазных писателей, которые особенно рьяно нападают на материализм. Но ведь буржуазные писатели, утверждает Чехов, „не могут быть не фальшивыми. Это усовершенствованные бульварные писатели“. „Материалистическое направление, — повторяет Чехов, — необходимо и неизбежно. Вне материи нет ни опыта, ни знания, а значит нет и истины“.

Вот каким должно бы стать подлинное изображение Чехова. Оно очень не похоже на те его портреты, которые до сих пор отливались со старых, давно уже потрескавшихся клише. Наступило время по-новому подойти к Чехову, вскрыв подлинную его сущность для того, чтоб убедиться в полной полярности его и... чеховщины.